**Исповедь, или Оля, Женя, Зоя**

Антон Чехов

(письмо)

Вы, ma chere[[1]](#footnote-1), мой дорогой, незабвенный друг, в своем милом письме спрашиваете меня между прочим, почему я до сих пор не женат, несмотря на свои 39 лет?

Моя дорогая! Я всей душой люблю семейную жизнь и не женат потому только, что каналье судьбе не угодно было, чтобы я женился. Жениться собирался я раз 15 и не женился потому, что все на этом свете, в особенности же моя жизнь, подчиняется случаю, все зависит от него! Случай — деспот. Привожу несколько случаев, благодаря которым я до сих пор влачу свою жизнь в презренном одиночестве...

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ

Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, как самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами по росистой траве. Река и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам... Мы шли по аллейке, усыпанной желтым песком, и счастливыми грудями вдыхали в себя ароматы июньского утра. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое, должно быть, очень хорошее, нежное... Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыном вашего исправника) покоилась на моей руке, и ее крошечный мизинчик дрожал на моем большом пальце... Щечки ее горели, а глаза... О, ma chere, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах! Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки...

— Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятил я науке, — шептал я, боясь, чтобы ее мизинчик не сполз с моего большого пальца. — В будущем ожидает меня профессорская кафедра... На моей совести вопросы... научные... Жизнь трудовая, полная забот, высоких... как их... Ну, одним словом, я буду профессором... Я честен, Ольга Максимовна... Я не богат, но... Мне нужна подруга, которая бы своим присутствием (Оля сконфузилась и опустила глазки; мизинчик задрожал)... которая бы своим присутствием... Оля! взгляните на небо! Оно чисто... но и жизнь моя так же чиста, беспредельна...

Не успел мой язык выкарабкаться из этой чуши, как Оля подняла голову, рванула от меня свою руку и захлопала в ладоши. Навстречу нам шли гуси и гусята. Оля подбежала к гусям и, звонко хохоча, протянула к ним свои ручки... О, что это были за ручки, ma chere!

— Тер... тер... тер... — заговорили гуси, поднимая шеи и искоса поглядывая на Олю.

— Гуся, гуся, гуся! — закричала Оля и протянула руку за гусенком.

Гусенок был умен не по летам. Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку, и, по-видимому, пожаловался ему. Гусак растопырил крылья. Шалунья Оля потянулась за другим гусенком. В это время случилось нечто ужасное. Гусак пригнул шею к земле и, шипя, как змея, грозно зашагал к Оле. Оля взвизгнула и побежала назад. Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильней и побледнела. Ее красивое девичье личико исказилось ужасом и отчаянием. Казалось, что за ней гналось триста чертей.

Я поспешил к ней на помощь и ударил по голове гусака тростью. Негодяю-гусаку удалось-таки ущипнуть ее за кончик платья. Оля с большими глазами, с исказившимся лицом, дрожа всем телом, упала мне на грудь...

— Какая вы трусиха! — сказал я.

— Побейте гуску! — сказала она и заплакала...

Сколько не наивного, не детского, а идиотского было в этом испугавшемся личике! Не терплю, ma chere, малодушия! Не могу вообразить себя женатым на малодушной, трусливой женщине!

Гусак испортил все дело... Успокоивши Олю, я ушел домой, и малодушное до идиотства личико застряло в моей голове... Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался от нее.

СЛУЧАЙ ДРУГОЙ

Вы, конечно, знаете, мой друг, что я писатель. Боги зажгли в моей груди священный огонь, и я считаю себя не вправе не браться за перо. Я жрец Аполлона... Все до единого биения сердца моего, все вздохи мои, короче — всего себя я отдал на алтарь муз. Я пишу, пишу, пишу... Отнимите у меня перо — и я помер. Вы смеетесь, не верите... Клянусь, что так!

Но вы, конечно, знаете, ma chere, что земной шар — плохое место для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить в ней негде. Писатель — это вечный сирота, изгнанник, козел отпущения, беззащитное дитя... Человечество разделяю я на две части: на писателей и завистников. Первые пишут, а вторые умирают от зависти и строят разные пакости первым. Я погиб, погибаю и буду погибать от завистников. Они испортили мою жизнь. Они забрали в руки бразды правления в писательском деле, именуют себя редакторами, издателями и всеми силами стараются утопить нашу братию. Проклятие им!!

Слушайте...

Некоторое время я ухаживал за Женей Пшиковой. Вы, конечно, помните это милое, черноволосое, мечтательное дитя... Она теперь замужем за вашим соседом Карлом Ивановичем Ванце (а propos[[2]](#footnote-2): по-немецки Ванце значит... клоп. Не говорите этого Жене, она обидится). Женя любила во мне писателя. Она так же глубоко, как и я, верила в мое назначение. Она жила моими надеждами. Но она была молода! Она не могла понимать еще упомянутого разделения человечества на две части! Она не верила в это разделение! Не верила, и мы в один прекрасный день... погибли.

Я жил на даче у Пшиковых. Меня считали женихом, Женю — невестой. Я писал, она читала. Что это за критик, ma chere! Она была справедлива, как Аристид, и строга, как Катон. Произведения свои посвящал я ей... Одно из этих произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати. Я послал его в один из юмористических журналов. Послал первого июля и ответа ожидал через две недели. Наступило 15 июля. Мы с Женей получили желанный нумер. Поспешно распечатали его и прочли в почтовом ящике ответ. Она покраснела, я побледнел. В почтовом ящике напечатано было по моему адресу следующее: «Село Шлендово. Г. М. Б — у. Таланта у вас ни капельки. Черт знает что нагородили! Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим».

Ну и глупо... Сейчас видно, что дураки писали.

— Мммммм... — промычала Женя.

— Ка-кие мерр-зав-цы!!! — пробормотал я. — Каково? И вы, Евгения Марковна, станете теперь улыбаться моему разделению?

Женя задумалась и зевнула.

— Что ж? — сказала она. — Может быть, у вас и на самом-таки деле нет таланта! Им это лучше знать. В прошлом году Федор Федосеевич со мной целое лето рыбу удил, а вы все пишете, пишете... Как это скучно!

Каково? И это после бессонных ночей, проведенных вместе над писаньем и читаньем! После обоюдного жертвоприношения музам... А?

Женя охладела к моему писательству, а следовательно, и ко мне. Мы разошлись. Иначе и быть не могло...

СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ

Вы, конечно, знаете, мой незабвенный друг, что я страшно люблю музыку. Музыка моя страсть, стихия... Имена Моцарта, Бетховена, Шопена, Мендельсона, Гуно — имена не людей, а гигантов! Я люблю классическую музыку. Оперетку я отрицаю, как отрицаю водевиль. Я один из постояннейших посетителей оперы. Хохлов, Кочетова, Барцал, Усатов, Корсов... дивные люди! Как я жалею, что я не знаком с певцами! Будь я знаком с ними, я в благодарностях излил бы пред ними свою душу. В прошлую зиму я особенно часто ходил на оперу. Ходил я не один, а с семейством Пепсиновых. Жаль, что вы не знакомы с этим милым семейством! Пепсиновы каждую зиму абонируют ложу. Они преданы музыке всей душой... Украшением этого милого семейства служит дочь полковника Пепсинова — Зоя. Что это за девушка, моя дорогая! Одни ее розовые губки способны свести с ума такого человека, как я! Стройна, красива, умна... Я любил ее... Любил бешено, страстно, ужасно! Кровь моя кипела, когда я сидел с нею рядом. Вы улыбаетесь, ma chere... Улыбайтесь! Вам незнакома, чужда любовь писателя... Любовь писателя — Этна плюс Везувий. Зоя любила меня. Ее глаза всегда покоились на моих глазах, которые постоянно были устремлены на ее глаза... Мы были счастливы. До свадьбы был один только шаг...

Но мы погибли.

Давали «Фауста». «Фауста», моя дорогая, написал Гуно, а Гуно — величайший музыкант. Идя в театр, я порешил дорогой объясниться с Зоей в любви во время первого действия, которого я не понимаю. Великий Гуно напрасно написал первое действие!

Спектакль начался. Я и Зоя уединились в фойе. Она сидела возле меня и, дрожа от ожидания и счастья, машинально играла веером. При вечернем освещении, та chere, она прекрасна, ужасно прекрасна!

— Увертюра, — объяснялся я в любви, — навела меня на некоторые размышления, Зоя Егоровна... Столько чувства, столько... Слушаешь и жаждешь... Жаждешь чего-то такого и слушаешь...

Я икнул и продолжал:

— Чего-то такого особенного... Жаждешь неземного... Любви? Страсти? Да, должно быть... любви... (Я икнул.) Да, любви...

Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала веером. Я икнул. Терпеть не могу икоты!

— Зоя Егоровна! Скажите, умоляю вас! Вам знакомо это чувство? (Я икнул.) Зоя Егоровна! Я жду ответа!

— Я... я... вас не понимаю...

— На меня напала икота... Пройдет... Я говорю о том всеобъемлющем чувстве, которое... Черт знает что!

— Вы выпейте воды!

«Объяснюсь, да тогда уж и схожу в буфет», — подумал я и продолжал:

— Я скажу коротко, Зоя Егоровна... Вы, конечно, уж заметили...

Я икнул и с досады на икоту укусил себя за язык.

— Конечно, заметили (я икнул)... Вы меня знаете около года... Гм... Я честный человек, Зоя Егоровна! Я труженик! Я не богат, это правда, но...

Я икнул и вскочил.

— Вы выпейте воды! — посоветовала Зоя. Я сделал несколько шагов около дивана, подавил себе пальцами горло и опять икнул. Ma chere, я был в ужаснейшем положении! Зоя поднялась и направилась к ложе. Я за ней. Впуская ее в ложу, я икнул и побежал в буфет. Выпил я воды стаканов пять, и икота как будто бы немножко утихла. Я выкурил папиросу и отправился в ложу. Брат Зои поднялся и уступил мне свое место, место около моей Зои. Я сел и тотчас же... икнул. Прошло минут пять — я икнул, икнул как-то особенно, с хрипом. Я поднялся и стал у дверей ложи. Лучше, та chere, икать у дверей, чем над ухом любимой женщины! Икнул. Гимназист из соседней ложи посмотрел на меня и громко засмеялся... С каким наслаждением он, каналья, засмеялся! С каким наслаждением я оторвал бы ухо с корнем у этого молокососа-мерзавца! Смеется в то время, когда на сцене поют великого «Фауста»! Кощунство! Нет, ma chere, когда мы были детьми, мы были много лучше. Кляня дерзкого гимназиста, я еще раз икнул... В соседних ложах засмеялись.

— Bis! — прошипел гимназист.

— Черт знает что! — пробормотал полковник Пепсинов мне на ухо. — Могли бы и дома поикать, сударь!

Зоя покраснела. Я еще раз икнул и, бешено стиснув кулаки, выбежал из ложи. Начал я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу — и все икаю. Чего я только не ел, чего не пил! В начале четвертого акта я плюнул и уехал домой. Приехавши домой, я, как назло, перестал икать... Я ударил себя по затылку и воскликнул:

— Икай теперь! Теперь можешь икать, освистанный жених! Нет, ты не освистанный! Ты не освистал себя, а... объикал!

На другой день отправился я, по обыкновению, к Пепсиновым. Зоя не вышла обедать и велела передать мне, что видеться со мною по болезни не может, а Пепсинов тянул речь о том, что некоторые молодые люди не умеют держать себя прилично в обществе... Болван! Он не знает того, что органы, производящие икоту, не находятся в зависимости от волевых стимулов.

Стимул, ma chere, значит двигатель.

— Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас, — обратился ко мне Пепсинов после обеда, — за человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой? А? Что-с?

— Отдал бы... — пробормотал я.

— Напрасно-с!

Зоя для меня погибла. Она не сумела простить мне икоты. Я погиб.

Не описать ли вам еще и остальные 12 случаев?

Описал бы, но... довольно! Жилы надулись на моих висках, слезы брызжут, и ворочается печень... Братья писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое! Позвольте, ma chere, пожелать вам всего лучшего! Жму вашу руку и шлю поклон вашему Полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец... Хвала ему! Жаль только, что он пьет горькую (это не упрек, ma chere!). Будьте здоровы, ma chиre, счастливы и не забывайте, что у вас есть покорнейший слуга

Макар Балдастов.

1. моя милая (франц.). [↑](#footnote-ref-1)
2. кстати (франц.). [↑](#footnote-ref-2)